

АНА МАЙКЛЗ

*Не смотри на меня так, будто все еще
имеешь право на мое сердце*



18+

КОРОНА
ИЗ ЧЕРНЫХ ВЕН

18+

Ана Майклз

Корона из чёрных вен

<https://litres.ru/74535837>

SelfPub; 2026

Аннотация

Тьма может скрываться под самым ослепительным золотом.

Когда твоя жизнь сводится к борьбе за выживание, у тебя нет права на слабость. Но когда исчезает Эйла — единственный человек, ради которого стоило дышать, — Мира понимает: назад дороги нет. Город полнится слухами о том, что подруга мертва, а её палачи носят короны.

Чтобы узнать правду, Мира добровольно шагает в золотую клетку — замок, где правит жестокий принц Рейнар.

Он — воплощение всего, что она поклялась ненавидеть: высокомерный, пугающе красивый и смертоносный. Но чем дольше Мира прислуживает в его покоях, тем яснее видит: в этом замке лгут абсолютно все, а за ледяной маской принца скрываются тьма и шрамы, способные уничтожить их обоих.

За каждым их прикосновением прячется угроза. За каждым взглядом — пламя, которое не потушить.

В мире, где доверие карается смертью, сможет ли девушка из трущоб противостоять человеку, чье притяжение опаснее любого яда?

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	30
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Ана Майклз

Корона из чёрных вен

Глава 1

МОЛОКО И ХЛЕБ

Воздух Нижнего города никогда не бывает чистым. Но ранним утром, до того как «Дыхание Канавы» поднимется из сточных труб и смешается с потом, жаром и руганью, в нём есть что-то почти терпимое.

Город ещё спит, тяжело, как человек, который боится проснуться, потому что не знает, чем заплатит за новый день. Но хотя бы тихо.

Я иду по улице, которая так и не получила имени, только «третья от бойни». Или просто «та, где воняет». Сапоги — чужие, великоватые, но дарёные — шаркают по булыжнику. Этот звук остаётся единственным, кроме моего дыхания.

Я люблю это время. Никто не смотрит. Никто не ждёт. Никто не лезет с разговорами.

Молочная лавка отца Эйлы стоит на углу, где Третья от бойни встречается с Кривой улицей. Вывеска — просто доска с нарисованной коровой. Когда-то её изображали старательно, но дожди и время превратили рисунок в размытое

пятно.

Дверь скрипит. Внутри теплее, чем снаружи: от печи, от дыхания коров за стеной, от жизни, которая здесь ещё есть. Запах.

Парное молоко, свежий сыр, сено. И что-то ещё, чистое, почти сладкое. Я не знаю, как это называется. Знаю только, что такого запаха больше нет нигде в Нижнем городе. И что каждый раз, когда он ударяет в нос, у меня на секунду перестаёт болеть что-то внутри. Там, где обычно ноет.

— А, Мира, — доносится голос отца Эйлы из-за прилавка. Он не поднимает головы. Мнёт в руках тряпицу, протирает что-то. Он всегда что-нибудь протирает, даже когда уже чисто.

— Сыр вчерашний остался. На полке. Возьми.

Не «здравствуй». Не «как дела». Он давно не спрашивает. Он просто знает, что я приду. И оставляет сыр.

Я киваю. Он не смотрит, но чувствует: кивок, как и всё между нами, обходится без лишних слов.

Эйла стоит в углу, спиной ко мне, и моет кувшины. Волосы собраны в узел, одна прядь выбилась и лежит на шее. Она не слышала, как я вошла, или делает вид, что не слышала.

Я останавливаюсь на мгновение и просто смотрю.

Потому что здесь она другая. Не та Эйла, которая вечером сядет на край фонтана и начнёт рассказывать про свечи и шёлк. А та, которая просто живёт. Моет посуду. Стоит ко мне спиной. И не знает, что я на неё смотрю.

Она оборачивается, будто слышала мои мысли.

— Мира!

Эйла улыбается своей тёплой улыбкой, словно внутри неё разливают парное молоко из только что наполненного кувшина.

Она подходит, вытирает руки о передник и не обнимает: знает, что я не люблю. Просто касается пальцами моего запястья. Легко. Быстро. Словно проверяет, что я настоящая.

— Ты как?

— Жива, — говорю я.

И это у нас тоже ритуал. Она спрашивает: «Как ты?». Я отвечаю: «Жива».

Это значит: пока держусь. Пока не сдохла. Пока всё идёт по плану, которого нет.

Эйла берёт с полки кусок сыра с неровным краем, где желтоватая корка переходит в белое мягкое нутро, и кладёт мне в руки.

Я могла бы сказать «спасибо». Могла бы сто раз.

Но между нами слова уже не нужны.

Я так думаю.

Эйла отворачивается и начинает что-то напевать. Тихо, себе под нос, не замечая этого. Мелодия простая, похожая на ту, что играет уличный шарманщик, но немного другая, сдвинутая.

Я запоминаю её. Не специально. Она просто входит в голову и остаётся там, как заноза.

Это её мелодия. Я не знаю, откуда она её взяла. Никогда не слышала её ни от кого больше. И мне почему-то важно, чтобы она звучала именно здесь, именно сейчас, именно так.

Отец Эйлы отворачивается к печи. Даёт нам время.

Он всегда даёт нам время, словно знает, что его мало. Или словно уже знал кого-то, кому времени не хватило.

Сыр во рту тает. Я жую и смотрю на Эйлу из-под ресниц, и вдруг понимаю, что этот вкус я уже знала. Давно. Когда ещё не знала, чья это лавка.

Мне было пять лет.

Голодная зима. Дома никого. Так и должно быть, но я ещё ничего не понимаю.

Я сижу на ступеньке той же лавки. Только тогда она была просто лавкой, я не знала, чья она.

Ноги замёрзли. Руки замёрзли. Внутри пустота, которая болит. Но я уже не плачу: слёзы кончились вчера.

Подходит девочка. Золотая. Волосы как у Эйлы, только короче. Чистое платье, не новое, но чистое.

Она смотрит на меня. Не спрашивает: «Ты чего?». Не зовёт взрослых. Просто протягивает руку и кладёт мне в ладонь кусок сыра.

Молча.

А потом уходит.

Я тогда не сказала «спасибо». Ела молча, глотая слёзы вместе с сыром, а она уже скрылась за дверью. Я подумала: «Скажу завтра».

Но завтра стало стыдно. А послезавтра уже поздно, потому что слово «спасибо» превратилось в слишком маленькое для того, что она сделала.

Я до сих пор его не сказала.

Думала: «Скажу. Однажды скажу. Когда-нибудь, когда мы состаримся, когда всё это кончится, я приду и скажу: спасибо за сыр, золотая девочка».

Может, сегодня. Может, завтра.

Когда-нибудь.

— Ты чего замерла? — голос Эйлы возвращает меня обратно.

— Нет, всё в порядке, — говорю я.

И улыбаюсь. По-настоящему. Второй раз за утро, для меня это много. Обычно я вообще не улыбаюсь.

Эйла не замечает моей улыбки. Уже отвернулась, наливает молоко в кружку и ставит её передо мной.

— Пей. И пойдём. Сорен, наверное, уже на крыше.

Я пью. Молоко тёплое, с пенкой. Я ненавижу пенку.

Но здесь нет.

Здесь даже пенка похожа на подарок.

Мы выходим вдвоём. Отец Эйлы машет рукой, даже не поднимая головы.

Крыша — наше место. Над Нижним городом, но не слишком высоко, чтобы привлекать внимание. Плоская, старая, прогретая утренним солнцем.

Внизу улицы, шум, жизнь, запахи.

Здесь тихо.

Сорен уже там. Сидит на краю, свесив ноги. Самый сильный из нас. Не то чтобы богатырь, но плечи у него шире, чем у других парней его возраста, а руки покрыты мозолями от кузни.

Он всегда забирается первым. Не потому, что ему нужно, а потому, что потом стоит внизу и подсаживает Эйлу.

Она могла бы забраться сама, лазает не хуже меня. Но Сорен всё равно подсаживает. И она позволяет.

Сегодня всё как всегда.

Сорен подходит, обхватывает Эйлу за талию и легко поднимает, словно котёнка. Я забираюсь сама. Никогда не принимаю помощи.

Он даже не предлагает. Знает.

На крыше они садятся рядом. Я чуть в стороне.

Не потому, что меня не любят. Просто мне так удобнее: видеть их обоих целиком.

Сорен молча отламывает половину своей лепёшки и отдаёт Эйле.

— Ты не ел, — говорит она.

— Не хочу.

— Врёшь.

— Не хочу, — повторяет он ровно.

Спорить бесполезно.

Я сую руку в карман и достаю яблоко. Маленькое, кривобокое, с подгнившим боком. Но я его обрежу.

Сорен поднимает бровь. Эйла смеётся.

— Украла?

— Нашла, — говорю я. — На прилавке. Без присмотра.

— Это называется «украла».

— Это называется «взяла, потому что ему всё равно про-
падать».

Я разрезаю яблоко ножиком — маленьким, остро заточен-
ным, единственной вещью, которая всегда при мне.

Три части.

Сорен получает самую большую, хотя не просил. Эйла
вторую. Себе я оставляю ту, что с гнильцой. Обрежу и съем.

— Ты всегда так делаешь, — тихо говорит Эйла.

— Что?

— Отдаёшь лучшее.

Я жую и не отвечаю.

Потому что не знаю, как объяснить: лучшее — это не еда.

Лучшее — это сидеть здесь. С ними. В этой тишине, где
никто не врёт, не крадёт, не предаёт.

Дальше болтовня. Ни о чём.

О том, кто кого вчера послал. О том, что у мясника снова
подорожала требуха. О том, что Сорен вчера в кузне чуть не
оттяпал себе палец, а он говорит: «Пустяки». Эйла закатыва-
ет глаза и касается его руки, проверяет, точно ли пустяки.

Я молчу. Смотрю на них и чувствую что-то, для чего у
меня нет названия.

Не ревность. Не зависть.

Просто тепло. Как от той печи в лавке.

А ещё я замечаю, чего нет.

Нет дворца.

Эйла не сказала о нём ни слова. Обычно к этому часу она уже успевала спросить, не видели ли мы вчера карету, не слышали ли, какое платье будет у королевы на празднике, правда ли, что у принца глаза серые, как зимнее небо.

Сегодня она молчит.

И это молчание царапает меня сильнее, чем все её мечтания вместе взятые.

Но я отгоняю эту мысль. Может, она просто устала.

Эйла откидывается на спину, глядя в небо.

— А представьте, если бы там, наверху...

— Опять волки, — говорит Сорен, не открывая глаз.

Эйла показывает ему язык. Я закатываю глаза, но улыбаюсь.

«Опять волки» — про дворец, про Морвейнов, про всё, что блестит и убивает. Мы повторяем эти слова так часто, что они уже почти потеряли смысл и превратились в шутку.

Солнце поднимается выше, прогревая жёсть под нашими спинами. Сорен садится и чертит пальцем в воздухе, указывая в выцветшее серое небо:

— Вон там, когда стемнеет, встанет Охотник. Правее трубы.

Эйла слушает с открытым ртом, как ребёнок. Она всегда так слушает, когда Сорен рассказывает о звёздах.

Он знает их все, выучил у старого кузнеца, который теперь живёт в подвале и пьёт.

— А вон та точка, которая всегда блестит над холмом? — спрашивает Эйла.

— Это не звезда.

— А что?

— Окна дворца. Золото на шпилях.

Наступает тишина.

Я делаю вид, что мне неинтересно. Ковыряю ногти ножиком.

Но слово «Охотник» цепляет за живое.

Настоящие охотники не рождаются от сытости. Я пошла в лес, когда умерла мать.

Мне было двенадцать. В доме не осталось ничего, кроме пыли, сквозняка и тишины. Я стругала лук три дня старым ножом, сдирая кожу на ладонях до кровавого мяса. Тетиву скрутила из бельевой верёвки, пальцы от неё чернели и не разгибались. В Нижнем городе дичи нет. Только крысы да тощие бродячие псы, но до них я ещё не опустилась. Поэтому я пошла в лес за стеной.

Неделю бродила среди сырых стволов. Ни птицы, ни шороха, только мокрый снег за шиворот. Желудок скручивало так, что к вечеру перед глазами плавали мутные жёлтые круги.

На седьмой день я увидела его.

Серый заяц. Сидел под кустом орешника, шевелил уша-

ми. Всего один выстрел. Один выстрел отделял меня от голодной смерти.

Я затаила дыхание. Подняла свою кривую палку, натянула верёвку. Пальцы одеревенели от холода, тетива врезалась в кость.

Хрусь.

Ветка позади треснула так громко, будто выстрелили из пушки. Заяц метнулся в папоротник, мелькнул белый хвост, и всё. Пустота.

Внутри у меня полыхнуло. Чистая, слепая ярость, какая бывает, только когда у тебя изо рта вырывают кусок.

Я развернулась и с размаху кинулась на него с кулаками. Даже не разглядела толком, кто там. Плевать.

Он перехватил мой кулак на лету. Легко, за секунду до того, как пальцы коснулись его носа. Сухая и сильная хватка.

Мальчишка. Чуть старше меня. Тёмные взъерошенные волосы и глаза... тёплые, карие, слишком спокойные для того, кто бродит по чужому лесу.

— Какого чёрта?! — прохрипела я, вырывая руку. От бешенства пересохло в горле. — Я целую неделю выслеживала его!

Он окинул взглядом мою кривую палку и обтрёпанную верёвку. Усмехнулся углом рта:

— Ты бы не подстрелила его, даже если бы он стоял в дюйме от тебя.

— Пошёл ты.

Я плюнула под ноги, развернулась и пошла прочь. Сжала самодельный лук так, что побелели пальцы. Слёзы душили, но реветь при чужаке было бы позором.

Шаги сзади. Легкие, мягкие. Он догнал меня играючи.

— Ты заваливаешь локоть, когда целишься, — сказал он мне в спину, словно мы просто гуляли. — Плечо проседает. Стрела уйдёт в землю.

Я только прибавила шаг.

— Я могу тебя научить, — повторил он.

Я резко замерла и обернулась:

— Зачем тебе это?

Он пожал плечами с бесящей, сытой небрежностью:

— Мне скучно.

— Я ухожу, не могу на тебя смотреть.

— А как же заяц? — спросил он.

— Оставь себе.

Тогда он сунул руку за пазуху и достал свёрток. Грубая бумага, но сквозь неё пахло так, что у меня свело скулы.

Настоящий белый хлеб. Не та липкая серая жижа с отрубями, которой давились у нас в канавах. Пышный, с румяной хрустящей корочкой. Хлеб, который пекут не для бедняков.

Мальчишка протянул его мне.

Я ненавидела его в ту секунду. Ненавидела чистые руки, сытое лицо, его дурацкую снисходительность. Хотела швырнуть этот хлеб ему в ноги.

Но живот свело такой судорогой, что потемнело в глазах.

Я молча вырвала свёрток, прижала к груди и быстрым шагом направилась из леса.

— Если захочешь научиться, приходи завтра! — крикнул он вдогонку. — Я буду ждать тебя здесь!

— Никогда, — бросила я, даже не обернувшись.

Конечно, на следующее утро на рассвете я уже стояла под той же сосной.

Я продолжаю ковырять ногти ножиком. Точу лезвие о край подмётки. Всё запоминаю. Как Сорен произносит слово «Охотник». Как Эйла смеётся. Как небо над нами, серое, мутное, здесь кажется чуть чище.

Потом мы все трое лежим на спине. Никто не говорит.

Внизу шум, крики, лязг, кашель.

А здесь тепло. Плечо Сорена почти касается моего. Эйла лежит рядом, и я чувствую её дыхание.

Это оно.

Вот оно.

Счастье.

Маленькое, грязное, нищее, но настоящее.

И я хочу запомнить эту минуту целиком. Каждую секунду. Солнце на веках. Тишину. Их.

Сорен поворачивает голову. Я замечаю его взгляд сквозь прищуренные веки.

Долгий. Тяжёлый.

Он смотрит на меня.

Так смотрят на то, что боятся потерять.

Я отворачиваюсь. Делаю вид, будто меня ослепило солнце и я ничего не заметила.

Я часто ловлю на себе этот взгляд, но всегда отгоняю мысли о том, что он значит.

У нас нет на это права.

У нас есть только выживание.

Пусть лучше он будет моим братом, моим надёжным щитом, чем кем-то, из-за кого мне однажды станет больно.

Я молчу. Он тоже молчит и снова отворачивается к городу.

Солнце клонится к закату. Тени становятся длиннее.

— Пора, — говорит Сорен, садясь.

Они спускаются. Сорен первым, чтобы подхватить Эйлу. Я за ними, не принимая помощи, как всегда.

У лавки мы расстаёмся.

— Вечером у фонтана? — спрашивает Эйла.

— Да, — отвечаю я.

Она обнимает меня мимоходом. Легко. Привычно. Как обнимают тысячу раз.

Я чувствую её запах: молоко, мыло, что-то своё, эйлино.

И хочу что-то сказать.

Что, не знаю.

«Будь осторожна»? Глупо.

«Я тебя...»? Не могу.

Я просто киваю.

Эйла уходит, но на ходу оборачивается:

— Вечером у фонтана!

И смеётся.

Я запоминаю этот смех.

Не потому, что знаю что-то. А потому, что внутри у меня что-то ёкает.

Без причины. Просто так.

И я отгоняю это чувство.

Я иду домой одна.

Узкие улочки. Запах канала возвращается — то самое «Дыхание Канавы», которое поднимается к вечеру, чтобы к утру осесть.

Свет уходит.

Дома никого.

Так и должно быть. Так уже шесть лет.

Я разожгу печь себе. Принесу воды себе. Буду жить.

Этому я научилась раньше, чем читать.

В голове крутится последний смех Эйлы.

Я отгоняю его.

На этой улице дворец наконец открывается взгляду. Я поднимаю глаза и вижу холм.

Дворец.

Вечером у фонтана всё по-другому.

Днём его чаша полна мутной воды, в которой мальчишки полощут грязные ноги, а торговки — залежалые овощи. Но-

чью же, при свете единственного фонаря, капли, падающие с щербатых каменных губ, кажутся чистыми. Они ловят тусклый свет и на мгновение вспыхивают, прежде чем разбиться о поверхность.

Этот тихий, мерный стук — единственная музыка, которую Нижний город позволяет себе после заката.

Мы сидим на холодном бортике. Эйла поджала под себя ноги, Сорен широко расставил колени и упёр в них локти. Я, как всегда, чуть в стороне, прислонившись спиной к шершавому камню.

Воздух пахнет мокрой пылью и дымом из печных труб. Он уже не такой терпимый, как утром, но здесь, у воды, дышится легче.

— Старик Грот сегодня опять напился и пытался продать свою жену за бутылку сливовой настойки, — говорит Сорен, разглядывая свои ладони. — Она его же сковородкой и отходила.

Эйла хихикает:

— Она всегда его бьёт. Говорит, что любит, поэтому и бьёт, чтобы глупостей не делал.

— Странная любовь, — бурчу я, выцарапывая ножиком узор на грязи, налипшей на сапог.

— А какая не странная? — спрашивает Эйла.

Её взгляд на мгновение встречается со взглядом Сорена. Он отводит глаза первым.

Так мы и сидим. Говорим о пустяках, которые и есть наша

жизнь: о цене на хлеб, о стражнике с кривыми ногами, о том, что скоро зима и нужно снова латать дыры в крышах.

Эти разговоры — тонкая нить, которую мы втроём плетём каждый вечер, чтобы не рассыпаться поодиночке в этой серой пыли.

И тут Эйла, до этого расслабленная и смешливая, вдруг выпрямляется. Она смотрит на Сорена с той особенной сладкой улыбкой, которую приберегает для особых случаев.

— Сорен, принеси нам жареных орехов, а? У той старухи, на углу Кривой. У меня прямо живот свело, так захотелось.

Сорен хмурится. Угол Кривой в пяти минутах ходьбы, но он не любит оставлять нас одних после наступления темноты.

— У меня есть пол-лепёшки, — предлагает он.

— Нет, я хочу орехов. Горячих, солёных. Пожалуйста.

Она тянет последнее слово, и я знаю, что он не устоит. Никто не может устоять, когда Эйла просит вот так.

Сорен вздыхает и поднимается на ноги. Его фигура на мгновение заслоняет свет фонаря.

— Я быстро. Никуда не уходите.

— Да куда мы денемся с нашего трона? — усмехаюсь я.

Он кивает мне. Взгляд у него серьёзный.

Потом уходит, растворяясь в переулке. Его шаги, тяжёлые и уверенные, постепенно затихают.

Тишина. Только капли стучат по воде.

И я чувствую, как меняется воздух. Утренняя тревога, ко-

торуя я так старательно гнала от себя, возвращается липким холодком.

Эйла поворачивается ко мне. В свете фонаря её лицо кажется бледным, а глаза — огромными и тёмными. Улыбка исчезла.

— Мира, — шепчет она, подаваясь ближе. — Сегодня утром на рынок приходили двое.

Я настораживаюсь:

— Какие двое?

— Молодые парни. Не из наших. Один высокий, плечистый, с тёмными волосами и такими... карими глазами. А второй чуть пониже, крепкий, со светлыми волосами и светлыми глазами. Они подошли прямо к моему прилавку. Тёмный посмотрел на меня и сказал: «Красавица, какой сыр самый свежий?».

У меня внутри всё холодеет.

— И что ты?

— Я сказала: «Вот этот, господин. Я дам вам попробовать». Отрезала им по куску. Они попробовали, поблагодарили и купили целый сыр, представляешь? Целую головку, даже не торгуясь. А когда уходили, светлый тронул его за плечо и сказал: «Рейнар, нас ждут...».

Эйла переводит дыхание, её щёки горят.

— Рейнар, Мира! Понимаешь? Это был принц! Сам принц стоял в шаге от меня и назвал меня красавицей!

Я смотрю на неё, и земля уходит из-под ног.

— Завтра в полдень он снова будет на рыночной площади, — торопливо шепчет она. — Будет смотреть на выездку новых гвардейцев. Я хочу пойти. Хочу увидеть его ещё раз. Пожалуйста, пойдём со мной.

Внутри меня что-то с треском обрывается.

— Нет.

Слово выходит резким, как удар кнута.

— Почему? — в её голосе удивление и обида. — Это же просто посмотреть!

— Посмотреть? — Я встаю и начинаю мерить шагами пятachок света. — Эйла, ты слышишь себя? Он волк! Сын убийцы, который залил нашу землю кровью!

— Он не такой, как его отец! — шепчет она, оглядываясь.

— Он говорил со мной вежливо, улыбался. В нём нет зла!

— Откуда ты знаешь?! Ему стало скучно во дворце, и он решил позабавиться среди грязи! Купил твой сыр, как покупают дешёвую побрякушку! А ты уже растаяла? В жизни их кареты давят таких, как мы, и даже не оборачиваются!

— Он другой! — упрямо повторяет Эйла, поднимая на меня глаза, полные слёз. — Может, он справедливый! Может, он хочет всё изменить!

— Изменить?! — Я останавливаюсь перед ней, чувствуя, как голос срывается на шипение. — Они сожгли наши города, выжали до нитки Нижний город, а ты готова броситься ему под ноги за пару сладких слов? Тебе нечего там делать. Наше место здесь. В тени.

Она встаёт. Маленькая, хрупкая, но в её взгляде вспыхивает глухая сталь.

— Хорошо. Тогда я пойду одна.

Четыре слова.

И я понимаю, что проиграла. Я могу орать, злиться, но бросить её одну на растерзание гвардейцам и толпе я не смогу никогда.

— В полдень, — выдыхаю я сквозь зубы. — У входа на рынок. Но если начнётся хоть что-то подозрительное, я утащу тебя за волосы. Поняла?

Лицо Эйлы озаряет слепая, счастливая благодарность. Она бросается мне на шею:

— Спасибо, Мира! Спасибо!

— Я уже жалею, — бормочу я, застыв столбом.

В этот момент из переулка доносятся шаги Сорена. Он выходит на свет с двумя кулками горячих орехов, видит нас и замирает. Взгляд становится тяжёлым:

— Что здесь произошло?

Эйла тут же отстраняется и улыбается, как ни в чём не бывало:

— Ничего! Просто Мира — лучшая подруга на свете.

Сорен смотрит на меня, потом на неё. Он не верит, но давить не станет.

— Ешьте, пока горячие, — глухо говорит он.

Мы прощаемся у лавки Эйлы. Потом идём по тёмной улице с Сореном.

— Ты позволила ей втянуть себя во что-то, — говорит он, глядя под ноги.

— Она бы пошла одна.

— И это было бы хуже, — заканчивает он мою мысль.

У моего переуллка он предлагает:

— Я провожу.

— Не нужно. Дойду сама.

— Будь осторожна, Мира.

— Ты тоже.

Я сворачиваю в темноту, поднимаюсь по скрипучей лестнице и толкаю дверь своего дома.

Внутри темно, холодно и пусто. Так уже шесть лет.

Я не зажигаю огонь. Снимаю сапоги, сажусь на кровать и прислоняюсь затылком к сырой стене.

Рука сама тянется к вырезу рубахи. Пальцы нащупывают тонкий кожаный шнурок, скрытый под одеждой, и находят его. Гладкий, прохладный камень. Совершенно чёрный, без единой прожилки, словно осколок беззвёздной ночи.

Я сжимаю его в кулаке.

Я кричала на Эйлу. Называла её дурой. А сама?..

На следующее утро после того, как тот чужой мальчишка сунул мне свёрток с белым хлебом, он уже стоял под той же сосной. С кривой усмешкой и настоящим луком в руках.

— Пришла, — сказал он тогда. — А говорила: никогда. Как тебя зовут?

— Никак, — огрызнулась я, сжимая кулаки. — Учи давай.

Он хмыкнул, оглядел меня с головы до ног — тощую, рас­трёпанную, злую — и протянул лук:

— Ладно. Будешь мышонком. Злым лесным мышонком. Я хотела заехать ему в челюсть, но лук перевесил всё.

Он назвал себя Каем. Больше я не знала о нём ничего. Кто он, чей сын, откуда у него тонкие стрелы с ровным опере­нием и мягкие сапоги. Он никогда не говорил о семье. Зато слушал меня.

Кай появлялся в лесу поздней осенью, когда с деревьев облетала последняя листва, а воздух пах первыми замороз­ками. Мы виделись каждый день на протяжении двух-трёх недель. Сначала он учил меня правильно держать локоть и чувствовать ветер. На второй год принёс ножи и показал, как метать их без замаха, прямо от бедра.

Мы сидели у крошечного костра, пряча дым под лапами елей. Я болтала обо всём: о вонючем Нижнем городе, о ти­хом отце Эйлы, о Сорене, который уже тогда таскал железо в кузне. Мне было дико и странно, что кто-то может просто сидеть и слушать меня. Не перебивая, не требуя платы.

А потом он исчезал. Без предупреждения.

Наступало утро, я бежала к сосне, а там был только снег.

Я ненавидела его за это. Ненавидела себя за то, что жду, что считаю дни до следующей осени, что привыкаю к его на­смешливому «мышонок» и тёплым карим глазам. Я знала: эта привычка опаснее голода. Привыкнешь — и когда он не придёт, останется дыра, которую ничем не зашить.

Так прошло три года. Три осени по две недели.

В последний раз, когда ему было, наверное, семнадцать, а мне пятнадцать, он стоял в сумерках и крутил в пальцах этот камень.

— Держи, мышонок, — сказал он, вкладывая его в мою ладонь. Камень был тёплым от его руки. — На память.

Я не знала, что это за порода. Просто чёрный гладкий камень. Но в ответ я вытащила из кармана железный наконечник стрелы — тот, который сама выточила на бруске до идеальной остроты. Моя лучшая работа.

— Держи, — буркнула я, пряча глаза. — Чтобы не забыл, как стрелять.

Он улыбнулся. Забрал наконечник, коснулся пальцами моего виска — легко, едва заметно — и ушёл в туман.

Больше он не возвращался. Ни через год, ни через два, ни прошлой осенью.

Я никому не сказала о нём. Ни Эйле, ни Сорену. Это было моё. Единственное чистое место в моей жизни, запертое наглухо внутри.

И сейчас, сжимая чёрный камень в темноте пустой комнаты, я ненавидела себя ещё сильнее. Я боялась за Эйлу. Но больше всего я боялась, что её наивная сказка разобьётся точно так же, как моя.

Волки не умеют любить мышей. Они их просто пожирают. Утром рынок — это бурлящий котёл.

Он кричит, воняет, толкается, обманывает. Запахи жарен-

ного сала, гнилых овощей, дешёвой браги и немых тел смешиваются в тяжёлый чад.

Я стою у арки и жду.

Эйла появляется из толпы, как солнечный луч. На ней её лучшее платье — выцветшее, но чистое, а в волосах лента. Она подбегает ко мне и крепко обнимает, утыкаясь лицом в плечо.

— Спасибо, — шепчет она так искренне, что у меня пропадает желание язвить.

— Пошли, — говорю я, высвобождаясь. — Пока нас не затоптали.

Мы протискиваемся между рядами. Эйла вертит головой, глаза блестят от предвкушения.

Я же смотрю по сторонам иначе: сканирую толпу, отмечаю гвардейцев, ищу пути отхода. Чутьё охотника, вбитое Каем за три осени в лесу, работает само собой. Я вижу, где стоят арбалетчики на крышах, замечаю, как нервничает стража.

Люди вокруг тоже другие. Напряжённые. Жадные до зрелищ. Новость о приезде принца разлетелась по Нижнему городу, как чума.

И тут всё меняется.

Сначала нарастает гул, потом резко стихает, сменяясь глухой тишиной. Толпа расступается, вжимаясь в прилавки.

Он въезжает на площадь.

Конь под ним огромный, вороной, цвета сырой земли в полночь. Жеребец ступает медленно, чеканя шаг подковами

о булыжник, пар валит из его раздутых ноздрей.

А в седле сидит принц.

Сказки не ввали. Он красив.

Но это не мягкая красота ярмарочных кукол. Это статья хищника. Опасная, выверенная до жеста.

Тёмные волосы, резкие скулы, подбородок, высеченный из серого гранита. Чёрный военный камзол сидит идеально, без золотой мишуры, только серебряная пряжка у горла.

Я замираю.

Воздух застревает в горле, а под рёбрами предательски ёкает. На одну постыдную секунду я ловлю себя на том, что смотрю на него, не дыша. В нём есть та же пугающая сила, с какой натянутая тетива готова сорвать стрелу в полёт.

Осознание этого бьёт меня, как пощёчина. Липкий стыд мгновенно выжигает всё лишнее, оставляя только глухую злость.

Принц не смотрит на людей. Его взгляд устремлён вперёд, поверх голов. Лицо каменное, непроницаемое.

— Боги, какой же он красивый, — выдыхает Эйла рядом. Её голос возвращает меня на землю.

— Он выглядит благородным, — продолжает она прерывистым шёпотом. — Посмотри, Мира! В нём нет жестокости. Он совсем не похож на отца...

— Ты ослепла, Эйла? — шиплю я, хватая её за запястье и дёргая к себе. — Какое благородство? Это сын тирана, который залил наши земли кровью! Его отец убил твоего дядю,

моего отправил на каторгу!

— Он не его отец! — щёки Эйлы вспыхивают, она пытается вырваться. — Нельзя судить его за чужие грехи!

— Он волк из той же стаи! — шепчу я прямо ей в лицо, задыхаясь от ярости. — Он вырос на нашей крови! Его охраняют подонки, которые вчера избили старика за то, что тот не успел убраться с дороги! Ты со своими сказками предаёшь память наших родителей!

Слёзы брызжут из её глаз:

— Ты видишь только грязь! Ты просто не хочешь верить, что бывает что-то светлое!

— В этом городе нет ничего светлого! — отрезаю я.

Тяжёлая рука опускается мне на плечо.

Сорен.

Его лицо темнее грозовой тучи. Видимо, бросил молот и выскочил из кузни, заведя нас в толпе.

— Вы обе с ума сошли? — голос тихий, но в нём звенит калёное железо. — Орать такое под носом у гвардии?

Он смотрит на заплаканную Эйлу, потом на меня. Во взгляде глухая горечь.

— Мы уходим. Сейчас же.

Сорен хватается Эйлу за одну руку, меня за другую и буквально выдёргивает нас из толпы, которая уже начала подозрительно коситься в нашу сторону. Он ведёт нас прочь, в спасительную тень кривого переулка.

Я иду за ним.

Но у самого поворота не выдерживаю. Оборачиваюсь через плечо.

Принц всё так же сидит в седле своего вороного коня, неподвижный, как изваяние.

Только он больше не смотрит вперёд.

Он смотрит прямо на меня.

Через всю площадь, сквозь головы сотен горожан, его тёмные глаза упёрлись точно в мои. Ни гнева. Ни удивления.

Только тяжёлое, цепкое внимание.

Ледяной холод прокатывается под кожей до самых кончиков пальцев.

Сорен дёргает меня за руку, увлекая за угол, и площадь исчезает. Но чужой взгляд остаётся на мне, словно след от раскалённого железа.

Глава 2

Не сестра

Мы не сказали Эйле ни слова.

Она вырвала руку из ладони Сорена, как только мы свернули с площади в лабиринт знакомых переулков. Слезы текли по её щекам молчаливыми дорожками, смывая уличную пыль. Она не посмотрела ни на меня, ни на него. Просто развернулась и побежала к своему дому, ссутулив плечи, словно пытаясь стать невидимой и раствориться в темноте подворотен.

Я сделала шаг за ней, но рука Сорена на моём плече остановила меня.

— Оставь. Ей нужно побыть одной.

Я знала, что он прав. Слова сейчас были бесполезны. Мои били наотмашь, её рассыпались слезами. Мы только изранили бы друг друга ещё сильнее.

Мы стояли в тишине посреди воняющей канавой улочки. Солнце почти не проникало сюда, застревая в частоколе перекошенных крыш. Где-то вдалеке всё ещё глухо гудел рынок, но здесь этот шум казался далёким и чужим.

— На крышу, — сказал Сорен.

Это был не вопрос. Единственное место, где воздух не давил на рёбра.

Подъём показался мне бесконечным. Каждый уступ, каж-

дый крошащийся кирпич, за который я цеплялась пальцами, требовал сил. Тело налилось свинцом.

Сорен, как всегда, забрался первым. Помощи не предложил, но я знала: он стоит наверху и караулит каждый мой шаг, готовый перехватить, если сорвусь.

Я не сорвалась. Я никогда не срываюсь.

Наверху солнце резануло по глазам. Дневной свет на нашей крыше был редким и нежеланным гостем. Он обнажал всю убогость: трещины в старой черепице, гниль в стоках, въевшуюся грязь там, где мы обычно сидели. Утренние и вечерние сумерки скрадывали всё это, превращая крышу в убежище.

Днём это была просто куча старого битого камня над пропастью нищеты.

Сорен сел на своё привычное место, свесив ноги. Я опустилась рядом, но оставила между нами ладонь пустоты. Расстояние заполнили неловкость и невысказанные упрёки.

Он долго молчал, глядя вниз. С высоты Нижний город походил на застарелую язву, покрытую коркой из переулков, сараев и дымящих труб.

— Ты была слишком резкой, Мира, — наконец произнёс он, не поворачивая головы.

Голос звучал ровно. Просто констатация факта.

— Я сказала правду, — бросила я, выковыривая кончиком ножа мох из щели.

— Правда не всегда лечит. Иногда она калечит.

— А её мечты её не искалечат? — Я вскинула на него глаза. — Вера в то, что волк станет ягнёнком, если у него красивое лицо? Это не опасно? Что было бы, если бы я не пошла с ней? Если бы ты не подоспел? Она полезла бы к его коню, я её знаю! Пискнула бы глупость, и гвардейцы...

Горло перехватило. Я слишком живо представила это: тонкая, светлая Эйла под коваными сапогами стражи.

— Я знаю, — тихо отозвался Сорен. — Знаю, почему ты сорвалась. Но можно было... мягче.

— Я не умею мягче. Мягкость здесь не спасает. Мягких съедают первыми.

Он повернулся ко мне. Его лицо, обычно спокойное и надёжное, как наковальня, выглядело измученным.

— Но мы не должны жрать друг друга, Мира. Мы — всё, что у нас есть.

Эти слова попали точно в цель. Броня дала трещину.

Я отвернулась, уставившись на далёкий холм, где над городом нависал тёмный силуэт дворца — источник всей дряни, корень каждой беды.

— Что нам делать, Сорен? — спросила я тихо. — Она не перестанет смотреть на этот холм. А её мечты однажды убьют нас всех.

Он помолчал, разглядывая свои загрубевшие ладони.

— Мы уедем.

Я моргнула:

— Что?

— Мы уедем отсюда, — повторил он твёрдо. — Все втроём. Я давно об этом думаю. Коплю деньги с каждого заказа в кузне. Каждый медяк прячу.

Он говорил спокойно, будто этот путь давно был расчерчен у него в голове:

— На юг, к морю. Там есть вольные города. Нет Морвейнов, нет этих черных камзолов. Там можно работать и дышать, а не выгрызать каждый кусок.

Я смотрела на него. В его голосе не было фантазий. Каждое слово весило, как кузнечный молот.

— Уехать... — я попробовала это слово на вкус. Чужое, сухое. Вся моя жизнь прошла в этой грязи. Я знала каждый переулок, каждую трещину в стене. Я выросла сюда намертво.

— Ты сможешь найти работу в порту, Эйла пойдёт в лавку или пекарню. А я везде найду кузню, — продолжал Сорен, и в его голосе прорезалось что-то упрямое. — Там будет легче, Мира. У неё перед глазами не будет этого чертова дворца. Ей не о ком будет грезить. Вы обе будете в безопасности.

«В безопасности».

Это звучало почти как сказка, но в исполнении Сорена казалось осязаемым. Я посмотрела на его широкие плечи, на мозолистые руки и вдруг поняла: это его мечта. Защитить. Вытащить нас со дна.

И я слишком устала. Устала ждать удара в спину, устала бояться за них каждый рассвет.

— Хорошо, — сказала я.

Он даже вздрогнул от неожиданности:

— Хорошо? Так просто?

— А смысл спорить? — я пожала плечами. — План дельный, Сорен. У меня и такого нет. Мой план — просто дожить до заката. Твой лучше.

У меня никогда не было мечты — на них не хватало сил. Я просто хотела, чтобы те, кто мне дорог, дышали. И если ради этого нужно выдрать себя с корнем из этих трущоб, я согласна.

На лице Сорена промелькнуло такое острое, чистое облегчение, что меня кольнуло виной за собственное онемение.

— Я места себе не нахожу из-за неё, — сказал он, снова глядя на крыши. — Она же как младшая сестрёнка. Наивная, глупая, вечно смотрит в небо и не видит ямы под ногами. За ней нужен глаз да глаз.

— Да, — кивнула я. — Как сестра.

Это было понятно и просто. Эйла была тем чистым и хрупким, что мы вдвоём обязаны были уберечь.

На крыше повисла тишина — спокойная, скреплённая общим решением. Мы сидели над нашей серой клеткой, зная, что выход есть.

И тут Сорен заговорил снова:

— А ты...

Я повернула голову. Он смотрел прямо на меня.

— Ты для меня не сестра, Мира.

Воздух застрял в горле. В ушах тяжело, глухо застучала

кровь, заглушая все звуки улицы.

Он смотрел так, как никогда раньше.

Я видела, как глазают на женщин пьяницы в тавернах — с липкой, голодной похотью. В глазах Сорена не было этой грязи. Там было другое: тяжёлое, взрослое, глубокое. То, чему у меня не было названия.

И от этого мне стало по-настоящему страшно.

— Для меня ты... больше.

Мой привычный мир, где всё делилось на врагов и своих, треснул пополам.

Я онемела. Любое слово казалось западнёй. «Нет» разрушит то единственное, на чём держалась моя жизнь. «Да» станет чудовищной ложью.

Он был моим щитом, моим братом, моей опорой. А теперь земля под ногами качнулась, грозя уйти в пустоту.

Я открыла рот, но не смогла выдать ни звука.

Сорен вгляделся в моё лицо — и по его глазам скользнула тень. Не обида. Горькое, мгновенное понимание. Он прочитал всё: мою панику, мой испуг, мою немоту.

Он медленно отвёл взгляд и снова уставился на горизонт.

— Прости, — глухо сказал он. — Не вовремя. Я просто... хотел, чтобы ты знала.

Он перевёл дыхание, расправляя плечи:

— Ничего не меняется, Мира. Слышишь? Я не стану давать. Просто знай. Я буду ждать, пока ты будешь готова.

Готова? К чему?

К этой спокойной преданности? Я привыкла к дракам, к синякам, к волчьему оскалу. Против них у меня была крепкая броня. Но против его тихой нежности брони не существовало — она пробивала навывлет.

— А если... никогда? — вырвалось у меня раньше, чем я успела прикусить язык.

Слова прозвучали жестоко. Я сама испугалась их холода.

Сорен замер. Казалось, прошла целая вечность. Я ждала, что он встанет, разозлится, ударит кулаком по черепице.

Но он остался сидеть. Только повернул ко мне лицо.

В его взгляде не было злости. Только бездонная, тихая усталость. И несокрушимая, упрямая верность.

— Тогда буду ждать всю жизнь.

Утро не принесло облегчения.

Слова Сорена, сказанные на крыше, всю ночь крутились в голове, не давая уснуть. Они были тёплыми, а я привыкла к холоду. Они были обещанием, а я не верила обещаниям.

Я лежала на жёсткой кровати, смотрела в тёмный потолок и чувствовала себя воровкой, которой сунули в руки чужое золото, а она не знает, куда его деть: ни продать, ни выбросить, ни принять.

Но растерянность перед Сореном меркла по сравнению с острой, колющей болью при мысли об Эйле.

О её слезах. О том, как она бежала по переулку, вжимая голову в плечи.

Сорен был прав. Я была жестокой. Правда, брошенная без жалости, ничем не лучше булыжника в лицо.

Поэтому на рассвете, проглотив сухую корку, я пошла не в дубильню, а к молочной лавке.

Дверь привычно скрипнула. Внутри пахло парным молоком, остывающей печью и сеном. Отец Эйлы стоял за прилавком, протирая серой тряпицей чистое дерево. Он поднял на меня глаза. В них не было укора. Только тяжесть человека, который давно всё понял.

— Она у себя, — сказал он, кивнув на дверь в жилую каморку.

Я молча прошла за прилавок.

Эйла сидела на краю кровати и расчёсывала волосы. Длинные золотистые пряди струились по плечам. В маленьком мутном зеркальце она увидела моё отражение и замерла.

Я остановилась на пороге, комкая пальцами край рубахи.

— Я... — голос звучал чужой и скрипучий. — Я пришла сказать... Вчера, на площади. Я перегнула палку. Не должна была так на тебя орать.

Она медленно опустила деревянный гребень и повернулась. На её лице не было злости. Не было привычной обиды, которую можно вылечить яблоком или глупой шуткой. Она просто смотрела на меня большими, прозрачными глазами.

— Всё хорошо, Мира. Я не сержусь.

Она улыбнулась. Но эта улыбка была чужой. Тонкой и ломкой, как первый лёд на осенней луже. Она не согревала

и не касалась глаз.

От этого взгляда по спине пробежал мороз. Уж лучше бы она накричала на меня или швырнула гребень в стену.

— Ты была права, — продолжила она ровно, без единой дрожи в голосе. — Я глупая. Мечтаю о сказках, которых нет. Больше не буду.

Она врала.

Я знала каждую её ужимку, каждое движение ресниц. Она не отказалась от своей блажи. Она просто заперла её внутри. Спрятала от меня.

— Ты не глупая, — сказала я тише. — Просто... будь осторожнее.

— Буду, — кивнула она.

Раньше наше молчание грело. Теперь оно давило на виски недосказанностью.

— Вечером у фонтана? — спросила я, чтобы разорвать эту глухую тишину.

Она покачала головой и снова взялась за волосы:

— Не смогу. У меня сегодня дела.

Сердце пропустило удар.

Она никогда не пропускала наши вечера. Ни в ливень, ни в холод. Никогда.

— Дела? Какие?

Вопрос вырвался раньше, чем я успела себя одёрнуть. Эй-ла на мгновение поймала мой взгляд в зеркале.

— Домашние, — уклончиво бросила она.

И я отступила.

Вчера я втоптала её веру в грязь. Я потеряла право выпытывать её секреты.

— Хорошо, — сказала я, пятясь к выходу. — Тогда... до завтра.

— До завтра, Мира.

Я вышла на улицу. Шум просыпающегося города ударил по ушам, но внутри осталась вязкая тревога. Я шла в дубильню с ощущением, что земля под нашими ногами уже начала осыпаться.

Дубильня — это брюхо Нижнего города. Она переваривает падаль и смерть, чтобы одеть живых.

И воняет соответственно.

Запах сбивает с ног ещё за два переулка: едкая, тошнотворная гарь из гнили, собачьей мочи, крови и сырой овечьей шерсти. Он въедается в поры, в ногти, в корни волос. От него не отмыться ни щёлоком, ни кипятком. Все, кто работает здесь, несут этот дух за собой, как клеймо каторжника.

Моя работа — самая грязная и тупая.

Мездрение.

Шкуры привозят с бойни ещё тёплыми, осклизлыми. Я расстилаю их на дубовой колоде изнанкой вверх и часами, согнувшись пополам, сдираю тупым железным скребком остатки мяса, плёнок и застывшего сала.

Растянуть. Надавить всем весом. Соскрести. Снова и снова.

Склизкая розовая жижа летит под ноги, смешиваясь со стружками и грязью. Руки быстро затекают и немеют от ледяного жира, а к полудню поясницу жжёт так, будто в позвоночник вбили раскалённый штырь.

Но у этой работы есть один плюс: здесь не нужно думать. Руки скоблят сами, а мысли вольны бродить где угодно.

И сегодня они кружили по кругу.

Отстранённый взгляд Эйлы. Её фальшивое «не сержусь». Куда она уйдёт вечером?

А следом — Сорен.

«Буду ждать всю жизнь».

Он произнёс это просто, будто речь шла о смене погоды. А для меня это звучало приговором. Чего он ждёт? Во мне нет ничего от тех девушек, которых зовут замуж. Я — это вонь дубильни, сточенные пальцы и нож за голенищем. Я умею только огрызаться и бить первой.

Разве такое можно любить?

Часы тянулись медленно, как деготь. Вокруг такие же серые тени скоблили, вымачивали в чанах и мяли кожи. Мы молчали. В этом чаду не делятся новостями — тут копят силы, чтобы не свалиться в чан.

Когда надсмотрщик гаркнул, что смена кончилась, я с трудом разогнулась. В спине что-то хрустнуло. Ополоснула руки в бочке с мутной ледяной водой, но запах въелся намертво.

Хозяин молча швырнул мне на ладонь четыре медные мо-

неты. Дневная пайка. Хватит на хлеб.

Вечерний рынок пустел. Торговцы заколачивали ставни лавок, считали медяки и выплескивали помои прямо на мостовую.

У лавки старого пекаря я выменяла три монеты на краюху чёрствого серого хлеба. Сунула тяжёлый свёрток за пазуху и побрела домой в обход — через квартал ремесленников.

Здесь жили те, кто стоял на ступеньку выше канавы: мастера, мелкие лавочники, старшая дворцовая челядь. Их дома были сложены из добротного камня, а не из гнилых досок, и в широких окнах горели свечи, а не коптили плошки с жиром.

Я шла мимо дома Марты Ключницы.

В Нижнем городе её знали все. Сухопарая, властная женщина в строгом темном платье, Марта держала в кулаке всех прачек и горничных Верхнего замка. Говорили, одного её слова смотрителю хватало, чтобы пристроить девчонку в тепло или навсегда захлопнуть перед ней дворцовые ворота.

Вечер был душным, и дверь её дома стояла приоткрытой. Сама Марта сидела в высоком кресле у окна, её тяжелый силуэт четко чернел на фоне масляной лампы.

Я ускорила шаг, не желая попадаться ей на глаза.

И вдруг замерла.

В глубине прихожей, за спиной ключницы, мелькнуло знакомое движение. Девушка поправляла на плечах тонкую шерстяную шаль.

Золотистые волосы. Тонкая талия. Знакомая выцветшая лента, перехватившая косу.

Эйла.

Дыхание перехватило, будто меня с размаху толкнули в грудь.

Я вжалась в сырую тень соседнего угла. Сердце глухо и тяжело застучало под ключицей.

Что она здесь забыла? В доме женщины, которая поставляет прислугу во дворец?

Разум судорожно цеплялся за простые объяснения: принесла сыр по заказу, передала кувшин сливок от отца... Но в руках у неё не было корзины. Она стояла там не как робкая торговка с заднего двора. Она стояла прямо, жадно слушая то, что Марта втолковывала ей вполголоса.

«У меня сегодня дела».

Вот они, её дела.

Внутри полыхнуло бешенство. Мне захотелось выскочить из тени, распахнуть дверь, схватить её за плечи и встряхнуть так, чтобы посыпались искры. Закричать: *«Ты в своём уме?! Ты лезешь прямо в пасть к волкам!»*

Но память о её утренних холодных глазах связала по рукам и ногам.

Если я наброшусь на неё сейчас — она закроется от меня наглухо. Убежит. Сделает всё назло.

Я осталась стоять в темноте, не спуская глаз с крыльца.

Через минуту Эйла вышла. На пороге она почтительно по-

клонила Марте, улыбаясь той самой новой, чужой улыбкой. Спустилась по каменным ступенькам и торопливо, почти летя над грязью, зашагала в сторону Кривой улицы. К дому.

Она ни разу не оглянулась.

Я смотрела ей вслед, пока золотистые волосы не растворились в вечерней мгле.

В груди стало пусто и холодно. Моя названная сестра только что перешагнула порог, ведущий к нашим врагам. И солгала мне в лицо.

Я прижала ладонь к груди, ощущая под пальцами твёрдый край чёрствого хлеба и холодный контур камня под рубахой.

Завтра. Я поговорю с ней завтра утром. Спокойно, без крика.

Я вытащу её из этой петли, даже если придётся переломать ей крылья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.